

Афанасий Афанасьевич Фет

Рассказы



Афанасий Фет

Рассказы

«Public Domain»

Фет А. А.

Рассказы / А. А. Фет — «Public Domain»,

«...Есть люди, которые разговаривают вслух сами с собою. Не знаю, чего это признак и как бы растолковал доктор Крупов подобную манию? Но я должен сознаться, что нередко вслух разговариваю сам с собою. В настоящую минуту делаю то же самое...»

Содержание

Каленик	5
Дядюшка и двоюродный братец	12
Начало и конец	12
I. Журнал	14
II. Приезд	18
III. Мизинцево	23
Конец ознакомительного фрагмента.	26

Афанасий Афанасьевич Фет

Рассказы

Каленик

Есть люди, которые разговаривают вслух сами с собою. Не знаю, чего это признак и как бы растолковал доктор Крупов[1] подобную манию? Но я должен сознаться, что нередко вслух разговариваю сам с собою. В настоящую минуту делаю то же самое...

Все науки, все искусства стремятся к одной цели – постигнуть природу, разгадать ее отрывочные явления и привести их в духе нашем, так сказать, к одному знаменателю; а между тем исследователи, положа руку на сердце, должны признаться, что в объяснениях своих они говорят только слова и слова, а природа все-таки – древняя Изида[2]. Да зачем нам ходить так далеко, рассматривать окружающий нас мир? Там бездна. Загляните в себя: что такое мысль? Какой это своенравный, неуловимый деятель; а между тем у ней есть своя, строгая, беспощадная логика, сокровенная, загадочная, как самая мысль, не зависящая от нашей воли и потому неизбежная, как судьба.

– Как это старо! – говорите вы. Согласен. А между тем я беспрестанно в своих монологах натываюсь на подобную сторону, о которой благоразумные люди и не думают, потому что это бесполезно.

Да и как же мне не говорить об этом?

На днях случилось со мной следующее. После обеда у знакомых, отдыхая, в числе прочих, на креслах, в кабинете, я, от нечего делать, начал рассматривать лежавшую близ меня иллюстрированную натуральную историю. Между прочими, прекрасно исполненными политипажами, мне попало на глаза изображение жирного, неуклюжего зверка, с совершенно круглой головой, на которой только обозначались места для глаз, а самых глаз не было заметно. Выражение всей фигуры, и особенно головы, самое бессмысленное и между тем в высшей степени злое. С первого взгляда на этот политипаж я почувствовал, что уношусь из кабинета куда-то далеко; и когда глаза мои прочли французскую подпись: «Ziemsку», я невольно вскрикнул; но так громко, что присутствующие расхохотались. Разгадайте мне, каким образом в то же мгновение душа моя осветилась палевыми лучами заходящего южного солнца, наполнилась благоуханием вечерней степи, и мне показалось, что я опять молод, что там, далеко, будут меня поджидать каждую минуту... подождут перед чаем, подождут за самоваром, пред ужином, за ужином и наконец долго, долго после ужина. Мне представилось, что я опять вижу этого самого, дотоле мне совершенно не знакомого, зверка ползущим по вспаханному полю и кричу своему кучеру: «стой!», вмиг соскакиваю с нетычанки и с изумленьем начинаю рассматривать движущуюся неуклюжую тварь дымчатого цвета, величиною, складом и движениями вполне напоминающую слепого четырехдневного щенка. Рассмотрев зверка довольно подробно сверху, я хочу перевернуть его ударом ноги, но в ту же минуту голос Каленика (моего кучера) раздается за мной: «Ваше благородие, хи, хи, хи! Не троньте, хи, хи! Если оно хи, хи! Если оно укусит, то надо умереть. Это зимское щеня, хи, хи». Испытав не раз неисчерпаемую мудрость Каленика, я перевернул зверя самым быстрым движением ноги, но сделал это весьма осторожно, причем зимское щеня показало две пары острых и весьма плотных клыков. «Хи, хи! Уж не рано! Ваше благородие, будет гроза, и мы, хи, хи, не доедем». Эти слова остудили мой естествоиспытательский пыл, и через минуту мы уже полной рысью катились по ровной дороге, какие бывают у нас только в южных губерниях, да и то летом, когда жадная земля тотчас впитывает в себя проливной дождь и теплый ветер снова сушит ее поверхность. Когда Каленик с обычным смехом пророчил грозу, небо было совершенно чисто, заря погорала цве-

том добела, а не докрасна раскаленного железа, а между тем, услышав «хи, хи – будет гроза» – и «хи, хи, не доедем», я убедился, что это так все верно, как то, что нам до места оставалось верст пятнадцать. Отчего же такая доверенность к изречениям Каленика? – спросите вы. Очень просто: слова его постоянно оправдывались на деле, как это случилось на днях во французской «Иллюстрации» насчет незнакомого мне зверка. У француза он назван *Ziemsky*, а Каленик назвал его «зимское щеня», и я более верю Каленику. Усевшись в нетычанку, я попытался расспросить его: а почему ты знаешь, что это зимское щеня? «Хи, хи, как же не знать: оно зимское щеня». – «Кто же тебе это сказал?» Каленик не отвечал ничего, и на повторенный вопрос я услышал обычное «хи, хи, не могу знать». «Ну, а почему же ты знаешь, что будет гроза?» – «Как же хи, хи, сейчас будет». – «Да почему же ты это думаешь?» – «Как же, хи, хи, сейчас будет, хи, хи, вот-то нас проберет, хи, хи». Вполне убежденный, что виденный мною зверь зимское щеня и что сейчас будет гроза, я замолчал. Точно, не прошло пяти минут, как с юга понесло холодным ветром и на горизонте начали показываться тучи... Да что! это миллионная доля того, что знал Каленик. Жаль, что на все расспросы относительно источника его сведений он, как истый мудрец, отвечал «не могу знать», а то, быть может, он открыл бы нам такие истины, до которых люди не дойдут и через 500 лет, а может быть, и никогда.

В 18.. году, прибыв из командировки в штаб полка, я подал рапорт о назначении мне казенного денщика и, возвратясь, по окончании караула, в эскадрон, совершенно забыл о моем рапорте. Уже через месяц получаю из полка предписание донести о прибытии ко мне денщика Каленика Вороненки, которого я и в глаза не видал. Судя по предписанию, что он более трех недель уже должен быть у меня, я решился обождать еще несколько дней и потом донес, что таковой Каленик не явился. Когда я запечатывал рапорт, слуга доложил мне, что вахмистр привел тщетно ожидаемого Каленика. Я вышел в переднюю и увидел русого малого, лет восемнадцати, с самым добродушным выражением лица, с серыми (сознаюсь в моем тогдашнем невежестве), мне показалось, самыми тупоумными глазами. «Где ты был?» – «Хи, хи, в Ершовке». – «Как в Ершовке? Стало быть, ты был здесь?» – «Хи, хи, никак нет». – «А где же ты был?» – «Хи, хи, в Ершовке». Я не предвидел конца нашему разговору, но вахмистр лукаво посмотрел на него и проговорил скороговоркой: «Ваше благородие, ему адъютант изволил дать бумагу да отправить сюда за двенадцать верст, в Ершовку, а он вспомнил, что в его губернии, изволило видеть, есть Ершовка, да туда. Я уже изволил ему говорить, что он не в такую попал, а теперь, как прикажете?..»

«Ну, брат, живи смиренно и делай что велют, так все будет хорошо». Лицо Каленика приняло какое-то торжественное выражение, и он голосом задушевного убеждения сказал: «Рад стараться». С этих пор во все продолжение службы его у меня я не мог им нахвалиться. Правда, все поручения он исполнял по-своему: но как результат оказывался удачным сверх ожидания, то к странному исполнению все привыкли. Несмотря на то, что, как истый хохлаенок, он был немного неряшлив, он тем не менее любил щеголять. Впрочем, щегольство его простиралось на три предмета: на красную рубашку, на новые сапоги, которые он шил всегда сам с особенным удовольствием, и на голубой картуз с кисточкой. Картуз этот непременно должен был быть бирюзового цвета с донышком на китовом усе, который Каленик неизбежно сломит, бывало, на другой день, так что картуз получал вид перегнутого листа для насыпания дробы в узкогорлую бутылку. С лошадьми, за которыми он смотрел у меня пять лет, он тоже обходился по-своему. На водопой водил обыкновенно к реке всю четверку; а когда лошадей бывало более, то и в этом случае водил всех разом и каждый раз, когда лошади с водопоя начинали играть, упускал, заливаясь со смеху, заводных и падал с той, на которой сидел. Эта проделка повторялась решительно каждый день. Чувство страха было для него недоступно. Однажды слуга мой послал Каленика отыскать по деревне сливок к чаю. Ничего о том не зная, я сидел в своей комнате. Вдруг сдерживаемое судорожное «хи, хи, хи» раздается в передней. Я догадался: верно,

что-нибудь случилось. Выхожу и вижу Каленика, который едва в состоянии, от смеха, держать окровавленными руками горшок с молоком. Полушубок и штаны его висели клочьями.

– Что это с тобой?

– Хи, хи, хи, хи.

– Что это?

– Собаки съели. Собак двадцать. Уж я бился, бился... коли б не баба, съели бы совсем. –

И он снова залился истерическим смехом.

При переездах днем Каленик никогда не кричал на лошадей, зато ночью, как бы она ни была светла и хотя бы ехать было не далее пяти верст, он непременно кричал: «Эх, коники! не дайте в поле помереть!» Не проходило недели, чтоб к экипажам не приделывали нового дышла. Где и как он ухитрялся их ломать, я до сих пор не знаю. На охоте он был незаменим: не держав отроду ружья в руках, он с козел так зорко все видел, что был мне чрезвычайно полезен.

Если вы бывали в Малороссии, то знаете, что речки, впадающие в Днепр, образуют широкие луга, покрытые во время разлива водою, а в остальное время года озерами, оставшимися от половодья. Когда вода спадет, озера эти быстро зарастают исполинским камышом, и как, по причине топкости берегов, нельзя пробраться до воды, то дикие утки тысячами водятся в этих озерах. По кочковатому, покрытому мохом и осокою прибрежью озер, в пролет бывает множество бекасов и дупелей, которые, сколько я заметил, ежегодно держатся на тех же местах, хотя кругом раскиданы совершенно такие же болота. Линия половодья обозначена уступом рассыпчатого песку ослепительной белизны. С этого уступа уже начинается уровень степи, и, взойдя на него, можно далеко обозревать извивающуюся долину. В самое знойное время редко ездят по топкому лугу, и потому дорога идет обыкновенно под самым песчаным берегом.

Служебные обязанности заставили меня переехать на постоянное жительство в штаб. Зная в двух верстах подобную местность, во время травяного продовольствия, в июне, довольно часто навевывался я насчет пролета дупелей.

Наткнувшись на сильный пролет, я соблазнил командира своего, когда-то страстного охотника и отличного стрелка, поехать со мной на охоту. Ружья у него сохранились прекрасные, но Медор был только страшен для слоняющихся по пустому рынку свиней и собак, а отнюдь не для дичи. Итак, нам пришлось обходиться моим Трезором; а как генеральские кучера не знали местности, то решено было, что нас повезет Каленик. У болота мы оставили нашего автомедона на дороге, а сами потянули влево по кочажнику, переходя от времени до времени по траве, достигающей нам до колен. Генерал сначала объявил, что вовсе не нуждается в собаке; но, убив пару дупелей, тогда как он не взогнал ни одного, я заметил, что, вместо удовольствия, могу только возбудить в нем досаду. Я свистнул Трезора и стал равняться так близко, что мы могли охотиться с одной собакой. К счастью, дупелей было много, и старый охотник, казалось, был совершенно доволен.

– Нет, идите вы направо, а я левее: поищу уток, – сказал он, настрелявшись вдоволь. Так мы и сделали. Вскоре я услышал выстрел и вслед за тем голос зовущего меня генерала:

– Накличьте, пожалуйста, сюда собаку: я видел, проклятая утка перелетела вон за тот камыш и, как перчатка, упала на той стороне.

Мы с трудом перебрали через воду, и поиски начались. Напрасно собака более получаса описывала круги по высокой траве – утки не было как не было!

– Посмотрите, ваш Каленик делает какие-то телеграфические знаки...

Я взглянул: точно, Каленик, от которого мы ушли не менее версты, в азарте махал своим классическим картузом. Не понимая ничего, я начал отвечать ему тем же, делая знак, чтоб он подъехал, хотя внутренне отчаивался в возможности подобного подвига. Вероятно, он понял меня, потому что мы увидали, как он начал поворачивать лошадей то вправо, то влево, как лошади начали спотыкаться и обрываться в болото и как, наконец, нетычанка быстро понеслась к нам. Но на половине пути новое болото, и на этот раз Каленик решительно остановился.

Долго не мог я понять, что он кричал, наконец разобрал: «правее!» Я подался вправо. «Еще правей, подле генерала!» Мы оглянулись: в двух шагах за генералом из травы торчал неподвижный хвост собаки. Я подошел и поднял утку.

Охотники знают, как трудно на большом, беспредметном пространстве, даже и вблизи, с точностью определить место, на которое упала убитая птица.

– Ну, батюшка, вам не нужно никаких Трезоров!

– Он у меня всегда так, – отвечал я. – Каленик возьмется за какое-нибудь дело, вы посмотрите и подумаете, что он это делает на смех; подождите – увидите, что он прав.

Знаете ли вы, что такое учебный плац в степной губернии? Это произвольно большое пространство той же степи, на котором место учения меняют почти ежедневно, во избежание пыли там, где на прошедшем церемониале трава выбита копытами... Чисто, гладко. Там и сям торчат бог весть когда и для чего насыпанные курганы. Ни плетня, ни рва, ни канавы – гарцууй хоть до Одессы.

Видите ли вы эту кожаную сигарочницу? Лет шесть тому назад добрый товарищ моего детства, а впоследствии однополчанин[3], подарил мне ее, прощаясь со мной в Бирюлеве. Где-то теперь эта буйная головушка? Так же ли горячо бьется это нежное, благородное сердце? С тех пор я не расставался с моим подарком. Однажды на ученьи, скакав с линейными унтер-офицерами, я как-то обронил сигарочницу и, возвращаясь домой, вслух на это жаловался, считая, разумеется, сигарочницу погибшей. Раздосадованный потерей, я забыл не велеть отпрягать лошадей. Между тем, отдохнув немного, вспоминаю, что мне нужно ехать.

– Вели подавать.

– Дрожки отложены.

– Вели запрещь.

– Некому.

– Как некому?

– Каленик сел на белогривого, да куда-то поскакал.

Недоумеая решительно, куда он поскакал, я, в нетерпении, вышел на улицу и стал глядеть направо и налево, не покажется ли он с какой-нибудь стороны. Ни слуху ни духу! Не знаю, долго ли я в волнении ходил перед воротами, как вдруг вижу под шлагбаумом показалась фигура Каленика, на белогривом, идущем самым флегматическим шагом. Я стал махать, кричать – ничего не помогало. Каленик приближался, но так медленно, что терпение мое истощалось. Наконец, когда до него мог долетать мой вопль, я закричал ему: «марш-марш!» С этим словом облако желтой пыли, как вихрь, понеслось ко мне, и когда лошадь ткнулась на всем скаку, чтоб круто поворотить в ворота, что-то шлепнуло, и я увидел Каленика распростертым на песке. Лошадь, привыкшая к подобным эволюциям, сделала страшный прыжок, вскинула задние ноги на воздух и, взвизгнув, понеслась в конюшню.

– Что ты, ушибся?

– Хи, хи, хи! Никак нет, ничего.

– Куда же это ты ездил?

– На плац.

– Зачем?

– За торбочкой.

Хладнокровный взгляд Каленика вполне убеждал меня, что он, как по всем вероятностям должно было ожидать, съездил даром, и я принялся его бранить.

– Ведь вот, если б у тебя хотя на грош было толку, поехал ли бы ты в степь искать то, чего, должно быть, никогда не видал.

– Никак нет-с, хи, хи, хи.

– Что никак нет-с? Так зачем же ты ездил?

– За торбочкой.

И, в подтверждение своего толкования, он достал пазухи сигарочницу.

Я замолчал. Мне стало стыдно. Как ни был я убежден в мудрости Каленика, но бывали случаи, когда я не дерзал ей слепо доверяться. Он иногда с самым добродушным хладнокровием, с самым чистосердечным смехом и к тому же без всякой видимой необходимости решался во что бы ни стало сделаться сказочным героем и затмить славу Геллы[4], Европы[5] и всех баснословных плователей и путешественников. Однажды в той же нетычанке я возвращался с товарищем с бала. Это было на масленой. Тонкий слой накануне пропорошившего снега покрывал промерзлую землю. Ночь была месячна и так же светла, как петербургские летние ночи. Мы ехали шибко. Гладкая дорога гудела под нами, как чугун. Товарищ мой прислонился в правом углу нетычанки и, вероятно, дремал; а я, для совершенного спокойствия, спустился с сиденья и, плотно завернувшись в шубу, заснул. Внезапно прервавшийся гул и сотрясение разбудили меня. Приподымаюсь – боже! что это такое?

Узнаю знакомую гнилую речку, деревню на противоположном берегу и вижу, что Каленик, шикая, спускается на лед. Я схватил его за плечо и крикнул: «Стой!»

Он остановил лошадей.

– Куда ты едешь?

– Дорогою.

С этим я не мог согласиться. Дорога, как известно всему миру, шла шагов на сто левее, да и по ней-то я не советовал бы никому пускаться четверкой в ряд в феврале. А там, куда правил Каленик, был омут, на котором лед даже и в декабре никогда не бывал надежен.

– Дай мне вожжи, а сам ступай пешком на ту сторону; да найди перевозчиков, которые лучше нашего знают, что тут делать.

Во время разговора товарищ мой очнулся и вполне одобрил мое распоряжение. Каленик слез с козел и начал перебираться через реку, стегая перед собой кнутом лед.

– Посмотри, посмотри, что это он делает? – спросил товарищ, – экой болван! Хоть бы шел левее, а то воображает, будто лед, выдерживая удар кнута, обязан сдерживать и кучера.

Я ничего не отвечал и смутно чувствовал, что Каленик просечет себе дорогу. Наконец он стал приподниматься на противоположный берег и закричал своим визгливым фальцетом: «Эй, подите сюда!» Никто не отзывался. Он пошел вдоль деревни, немилосердно стуча в ставни и двери каждой хаты, – то же безмолвие. От белых стен, освещенных луною, темная фигура Каленика обозначалась так резко, что мы могли видеть малейшее его движение. С четверть часа ходил он безуспешно от одних дверей к другим; но вдруг стал бросаться туда и сюда, как сумасшедший, и в то же время послышался такой страшный визг, вой и лай, что даже становилось жутко. Уж не напали ли опять на него собаки? но в таком случае он бы кричал, а выходит, что он гоняется за собаками. Несколько минут адский гам не умолкал, и вот в одном окне засветился огонь и вслед за тем дверь хаты отворилась. Перевозчики, один за другим, вышли на улицу, перешли еще левей дороги через лед, отпрягли лошадей и перевели их по одной на ту сторону. Нетычанку перекатили на руках. Как правдивый рассказчик, я должен добавить, что один из вожатых, захотев, вероятно, скорее до нас дойти и избрав для этого тот путь, по которому перешел Каленик с кнутом, едва только начал пробовать лед своим шестом, провалился по пояс.

Сообразя все эти обстоятельства, я невольно подумал: а может быть, Каленик тут бы и четверкой проехал? убеждение его разве ничего не значит?

Впрочем, нет, он не имел твердых убеждений. Убеждение предполагает анализ, а мудрость давалась ему синтетически. Он только непостижимым чутьем угадывал кратчайший путь к истине, не зная и нисколько не заботясь о том, дойдет ли он до нее.

Вот вам на это доказательство. Вы помните, как предсказание Каленика насчет грозы заставило меня немедля прервать изучение зимского щеня и как неожиданно скоро показавшиеся тучи оправдали слова моего «астронома». Не думайте, чтоб это была острота – нет: это

прозвище Каленика, под которым знал его весь полк. Кто первый его им пожаловал – история умалчивает.

– Что тебе вздумалось в такой жар потчевать нас ветчиной? Пошли за редисом.

– Некого. Вестового я услал седлать Арлекина, а человек ушел со двора.

– Пошли своего астронома.

Я назвал бы Каленика скорей метеорологом, но и астрономом его можно было назвать. Он отлично знал, или, лучше сказать, чувствовал, какая теперь четверть луны, который час дня или ночи и сколько прибыло или убыло во дне часов.

Возвращаюсь к рассказу, или, лучше сказать, к путешествию. Предсказание Каленика сбывалось во всей силе. Тучи, заволакивая горизонт, темным полушаром быстро надвигались на еще мерцающий вечер, как черный наличник опускается на свежее лицо молодого воина. Дождевые капли начали тяжело стучать по кожаному фартуку нетычанки, и вслед за тем полило как из ведра. Оставалось ехать всего верст десять, то есть версты четыре до Чуты, версты две за Чутую – и, увы! версты четыре Чутую. Вся правая сторона Днепра покрыта, как известно, дремучими лесами, составляющими, так сказать, сплошную массу, раскидывающую свои отрасли на бесконечные пространства. Одна из подобных отраслей, пересекающая Киевскую и полонину Херсонской губерний, называется Чутой. Что это за славный лес! Чей глаз привык скользить по чернеющему строю чахоточных елей и задумчивых сосен, тот не может понять, какое впечатление производит на путника, утомленного однообразием огнедышущей степи, этот свежий, благоуханный, идущий к вам навстречу исполин. Вы вступили в его очарованный круг. Какая целебная прохлада! как тут легко дышать! какая сила в каждой ветке, в каждом листе! Ни одной березы, ни одной сосны – все широколиственный клен, столетний дуб и щеголеватый берест.

Весною все лужайки сплошь покрываются какими-то нежными голубыми цветами, напоминающими незабудки. Нигде в другом месте не видал я таких цветов. Ленивый до последней крайности, я во всю жизнь свою не постигал значения слова «гулять». Но, проезжая весной через Чуту, я не выдержал, соскочил с тарантаса, пешком прошел весь лес и бессознательно нарвал целый сноп этих очаровательно-насмешливых и свежозадумчивых голубых цветов.

Но всякая вещь, как угодно было заметить жившим до меня мудрецам, имеет свою хорошую и худую сторону. В Чуте я вам указал на хорошую – постараюсь указать на скверную.

Степной грунт имеет свойство, несмотря на страшную силу палящего солнца, не умеряемую никакой тенью, хранить долгое время влагу. Это доказывает обильное произрастание. Вследствие этого легко понять, почему в тенистой Чуте, куда лучи проникают с трудом, грунт земли всегда влажен, а дорога, пересекающая лес, почти круглый год до крайности разьежена, выбита, грязна и до того скользка, что самые острые подковы не помогают лошадям на ней держаться. Дорога эта, или, как говорится, просека довольно широка, но и днем не разберешь, держаться ли правее или левее, потому что и там соскользнешь в ров, и тут лошади попадают.

Черный рыцарь окончательно надвинул свое забрало и темнота с трудом позволяла различать дорогу. Дождь продолжал лить. Вот направо от дороги засветился огонь – это дом лесничего, окруженный службами, в которых помещались инвалиды лесной стражи.

Если б я не боялся слишком часто прерывать нить повествования, то рассказал бы, как хороша эта маленькая вилла, вдали от людей приютившаяся у самого въезда в просеку. Мне всегда казалось, что громадный дуб с каким-то особенным чувством протягивает свои мохнатые сучья над щеголегато-остриженной камышовой кровлей. Как видна любовь к порядку в этом тщательно и красиво огороженном цветнике, в этих отлично содержанных клумбах! какой невозмутимой тишиной веет от этих пышных кустов белой акации! как милы и просты эти кисейные занавески на окнах! Верно, между здешними обитателями есть женщины. Мне помнится, однажды в растворенное окно я видел пяльцы...

В настоящую минуту, под влиянием холодного дождя, промочившего меня до костей, яркий свет, косвенно падавший из окон на дорогу, не возбуждал во мне ни малейшего сочувствия к обитателям приюта; напротив, мне было досадно, что людям тепло и светло, а я дрожу от холода, и передо мной во мраке, едва проникаемом для глаз, сияет четвероугольная рама просеки, наполненная тьмою. Ночевать здесь я ни за что бы не решился. Стоило ли для этого гнать лошадей и мокнуть? Мне хотелось поскорей туда, за Чуту: там еще светлей, еще теплей, там я даже буду радоваться, что промок, а все-таки приехал. Брать проводника я тоже не хотел, да и к чему? Он столько же увидит, как и мы, то есть ровно ничего. Все это я передумал перед въездом в просеку и, молча, на этот раз совершенно отдался на волю Каленика. Он тоже молчал и продолжал гнать рысью. Но вот мы въехали в лес; нетычанку начинает швырять со стороны на сторону; слышно, как лошади скользят и ошибаются ногами.

– Да поезжай шагом!

– Хи, хи, хи! – И он поехал шагом.

– Бери правей, или ты не слышишь, мы катимся в ров? Да куда же ты влево-то опять забираться? Пусты лошадей. Ведь вот тебе, дураку, и сказать-то ничего нельзя. Распустил лошадей, они и падают. Которая упала?

– Копчик за вожжи дернул.

– Так слезь да распутай его как-нибудь.

– Хи, хи, хи. Вот так штука!

Легко было мне сердиться и читать наставления, но придержаться в этом случае какого-нибудь правила было не только нелегко, но положительно невозможно. Тьма была такая, что я не видал собственных рук. От времени до времени молния на миг освещала дорогу, а громовые раскаты пробуждали в лесу какой-то странный, зловещий ропот.

Хотя кони наши были довольно бойки, но всем известно, как темнота усмиряет самую прыткую лошадь. Во мраке она везет усердно и делается крайне покорной. Одного можно было ожидать: не вздумалось бы задумчивому волку, которых здесь более чем где-либо, полюбоваться нашим путешествием. В таком случае я бы не взялся сказать, чем могло бы кончиться наше полуночное ристание по лесу... Дождь не переставал лить. Мы подвигались вперед со скоростью версты в час. Блеснула молния, и вижу, что мы подъезжаем только к первому мостику, а их еще впереди три.

– Что, Каленик? Выедем мы из лесу?

– А кто его знает? Хи, хи, хи.

В этом хи-хи-хи было столько искренней веселости, оно звучало так же визгливо, как будто я застал Каленика на пороге конюшни над неспелым арбузом и побранил, зачем он ест всякую дрянь.

Тут я в первый раз понял, что у него нет убеждения. Одно чутье, один гений – и больше ничего. Но, увы! наши способности развиваются всегда одни на счет других. И Каленик подвергся общему закону развития. Он положительно знал уже, что такое пепероски, находил у лошадей хвитазию, утверждал, что морды у них оттого искусаны, что они в стойлах по ночам заводят канитель, и наконец торжественно пришел просить, чтоб ему сшили плисовую поддевку.

Вероятно, вследствие образования, он уже считал для себя неприличным отвечать на вопросы о погоде, а я подозреваю, что он совершенно утратил свое второе зрение и вошел в чреду обыкновенных людей, о которых говорить более нечего.

Дядюшка и двоюродный братец

Начало и конец

Мазурка приходила к концу. Люстры горели уже не так ярко. Многие прически порас-трепались, букеты увяли, даже терпеливые камелии видимо потускнели. Адъютант, танцевавший в первой паре, объявил, что это последняя фигура.

– Посмотрите, как весел Ковалев, – сказала моя дама, обращаясь ко мне, – как ловко он несется с С...вой. Сейчас видно, что он счастлив. И точно, она прехорошенькая!

Я кивнул головой в знак согласия.

– Отчего вы так милостиво киваете головой? Неужели вы не удостоиваете сказать слова в честь красоты С...вой?

– Когда солнце на небе, звезды...

– Пожалуйста, без общих мест. Право, она прелестна, да и Ковалев такой милый...

– Весьма приятно будет мне передать ему ваше лестное о нем мнение.

– Это не одно мое мнение, но всех, кто его знает.

Между тем мазурка кончилась. Стулья загремели, и я раскланялся с моей дамой.

– На два слова, – сказал Ковалев, взяв меня под руку и отводя в соседнюю комнату. – Мы скоро уезжаем?

– Сейчас же.

– Как это можно? С последнего собрания, да еще и перед походом.

– Мазурка кончена. Что ж тут делать?

– Верно, будет полька, а может быть, и галопад.

– Бог с ними!

– Ну так слушай: у меня есть до тебя просьба.

– Сделай милость...

– Ты знаешь, мы выходим послезавтра в поход, а вам кажется, назначено месяца через два.

– Да.

– Когда вы выйдете, кто поступит на ваши квартиры?

– Никто.

– Ты где оставишь лишние вещи?

– В моем казенном домике.

– Кто за ними присмотрит?

– Поселенный инвалид.

– Позволь и мне прислать к тебе свой хлам, воз целый наберется. Чего там нет! Седел, мундштуков, корд, мебели, книг, старых бумаг – одним словом, всякой дряни... А нам велено очистить квартиры под резервы.

– Пожалуйста, не ораторствуй, а присылай.

– Спасибо. Прощай.

Я уехал в гостиницу, переоделся и в восемь часов утра был уже в штабе полка.

Когда полк наш, в свою очередь, выступил в поход, уланы, в которых служил Ковалев, были уже в Венгрии. В Новомиргороде нас остановили до особого приказа. Этого приказа мы ждали с нетерпением. Раз, когда мы собрались на плац перед гауптвахтой на офицерскую езду, к кружку офицеров подошел поручик П.

– Знаете ли, господа, печальную новость. Сестра пишет мне, что Ковалев убит. Первое неприятельское ядро, направленное против их полка, попало ему в грудь.

Я не хотел верить этому известию – так живо представлялся мне веселый, счастливый Ковалев на последнем бале. Но сомнения исчезли, когда, недели через три, я прочел в газетах о смерти штабс-ротмистра Ковалева.

И война кончилась. Мы возвратились на старые квартиры. Куда мне было деваться с имуществом Ковалева? Я знал, что он был совершенно одинок. Да и вещи-то были по большей части офицерские принадлежности, не только другого полка, но и другого оружия, следовательно, купить их было у нас некому. Желая отыскать какие-нибудь положительные сведения о родине Ковалева, я стал рыться в его бумагах. В одном из сундуков с книгами мне попала писаная тетрадь без начала и без конца. От нечего делать я прочел ее и нашел если не повесть, то, по крайней мере, несколько очерков. Дело идет о дяде и двоюродном брате. Под этим именем, выставленном мною на ;дачу в заголовке, представляю тетрадь на суд благосклонного читателя.

De mortuis nihil nisi bene![6]

І. Журнал

– Ну-с! далее! – говорил Василий Васильевич.

– Дублин, Портсмут, Плимут, Ярмут – портовые города, – повторил я однообразным и несколько печальным напевом, а между тем зрочки мои были обращены к окну и все внимание устремлено в палисадник. Там, на одном из суков старой липы, висела западня, а посреди сугробов, на протоптанной тропе, лежали четыре кирпича, соприкасающиеся так, что образовывали продолговатое четвероугольное углубление, над которым, в виде крыши, опираясь на подчинку, стоял наискось пятый кирпич. Следовательно, и этот несложный механизм был тоже западней.

– Ну-с! далее!

– Дублин, Портсмут, Плимут, Ярмут – портовые города, – проговорил я таким тоном, как будто сторицею платил до последней копейки старый долг, а «портовые города» произнес на этот раз так, что всякий посторонний подумал бы: «Да чего же он еще хочет от дитяти? Уж если он и теперь недоволен, так бог его знает, как ему угодить».

Но Василья Васильевича нелегко было удовлетворить в подобном случае.

– Вы урока не знаете, – сказал он, – извольте идти в угол.

– Помилуйте, Василий Васильевич, да я знаю. Сейчас все скажу: Чичестер.

– А! вот, давно бы так! – заметил Василий Васильевич одобрительным голосом.

Но мог ли я не смотреть в палисадник? Три синицы вылетели из покрытого тяжелым инеем сиреневого куста и жадно бросились на пустую шелуху конопляного семени, выброшенную ветром из западни. Не нашед ожидаемой пищи, они порхнули в разные стороны. Одна начала прыгать по кирпичам, лукаво заглядывая внутрь отверстия; две другие сели на западню. Одна из них, вопреки вертлявой своей природе, сидела неподвижно наверху качающейся клетки и заливалась таким звонким свистом, что последние ноты его долетали до моего слуха сквозь двойные стекла. Ветер, запрокидывая перышки на ее голове, придавал ей какой-то странный, надменный вид. Третья оказалась или самой глупой, или самой жадной. Она бойко прыгала по дверцам западни и так наклонялась к корму, что я с каждой минутой ждал – вот-вот она прыгнет на жердочку, и тогда...

– Ну-с! далее! – сказал Василий Васильевич.

В эту минуту западня захлопнулась, и пойманная синица заметалась по клетке. Стул опрокинут, чернила пролиты, и в несколько прыжков я уже на дворе. Ноги по колено в снегу, но зато рука в клетке и чувствует во власти своей эту вертлявую, нарядную синичку.

Я знал, где у Сережи (бедного мальчика, взятого в дом для возбуждения во мне рвения к наукам) стояли пустые клетки. Синица посажена, и я, раскрасневшись от холода и радости, вбежал в классную, крича во все горло: «Чичестер, Дорчестер»; но уж было поздно: Сережа, с смиренным видом исправителя чужих прегрешений, втягивал бумажной дудочкой пролитые чернила и вливал их таким образом снова в чернильницу. Василий Васильевич ходил разгневанный по комнате. А между тем самый-то главный птицелов был Сережа, и западня была его. Но, приводя в порядок классный стол, он вздыхал так укоризненно для меня, что Василий Васильевич не мог не видеть всего нравственного превосходства Сережи надо мной.

При взгляде на них я уже знал свою судьбу.

– Становитесь на колени! – сказал Василий Васильевич.

Я повиновался. Если мне и больно было стоять на коленях, то в этом случае я утешался примером спартанских юношей, с таким геройством переносивших удары розог (едва ли не единственный факт древней истории, врезавшийся мне в память).

Стоя на коленях, я страдал душевно. Мне казалось, что уже поднялась суматоха; что горничные бегут из портной швальни в девичью, с холодными утыгами и горячими лицами;

что дворовые загоняют распущенных по барскому двору кур и гусей; что за версту с горы спускается зимний возок и за ним кибитка с кухней и что по всему дому вполголоса раздается: «Барин едет». Все это живо рисовалось в моем воображении, и мне становилось страшно...

Я очень хорошо помнил, как батюшка, уезжая, говорил: «Да ты, Василий Васильич, заведи журнал и записывай мне каждый день, как он учился, как вел себя. Я знаю, он не захочет топтать в грязь мои труды, мой пот. Я езжу по именьям, хлопочу, на трудовую копейку нанимаю учителей – он это понимает. А ты, Василий Васильич, заведи журнал».

Я знал, что в настоящую минуту этот журнал исписан почти кругом, и видел, как Василий Васильевич (он спал в классной) вытащил его из-под своей подушки и стал в нем писать. Без сомнения, и сегодня будет написано, как это случалось по большей части: «Урока не знал, писал худо, в классе вел себя неприлично». Кроме того, матушка, войдя в класс, могла увидеть меня в таком унижительном положении. Начались бы увещания, отчаяние касательно будущей моей учености, а главное, матушка не преминула бы выставить на вид образцовое поведение и примерные успехи в науках и искусствах моего кузена, Аполлона Шмакова.

– Вот ребенок, с которого ты должен брать пример. Он двумя годами только старше тебя, а посмотри, какие милые французские письма ко мне он пишет и какие прописи прислал в подарок. Василий Васильич, отчего вы не можете дать ребенку этот почерк?

На это Василий Васильевич обыкновенно возражал: «Да помилуйте, сударыня, эти буквы все наведены по карандашу», с чем матушка никогда, по крайней мере явно, не соглашалась. Стоя на коленях, под влиянием стыда и страха, я старался как можно скорее вбить себе в голову несносный урок, и когда Василий Васильевич через полчаса возвратился в классную, из которой уходил в соседнюю комнату потянуть перед топящейся печкой Жукова, я, не дав ему времени уложить под подушку запрещенные орудия удовольствия, закричал:

– Василий Васильич, я знаю...

– Не знаете.

– Извольте прослушать: Дублин, Портсмут...

Урок сказан, и я получил прощение.

А грозный журнал – боже! как быть? Говорят, детство самое блаженное время. Для меня оно было исполнено грозных, томительных призраков, окружавших такую же тяжелую действительность. Единственная моя отрада в грустных воспоминаниях детства – сознание, приобретенное впоследствии, что меня воспитывали не просто, а по системе! Когда матушка, ввизвало, прикажет летом выносить на солнце отцовское платье и растворить в кабинете шкаф, то я, рассматривал мамонтов зуб, раковины и янтари на нижней полке, находил на второй, между старыми нумерами «Вестника Европы», все сочинения Ж.-Ж. Руссо и, кроме того, «Эмиля» [7] на французском, немецком и русском языках. Вот почему за столом, когда матушка начнет, бывало, столь убийственное для меня сравнение с кузеном Аполлоном, батюшка постоянно прерывал ее:

– Оставьте, пожалуйста! Может быть, я в другом ничего не знаю, но в воспитании я фанатик. Это моя идея! Аполлона сестра губит; он у нее и теперь смешон. Что это такое? Ребенок – старик. Нет, нет, это не моя метода! (В это время я обыкновенно наливал себе стакан холодной воды, хотя пить мне вовсе не хотелось.) Ты, Василий Васильевич, более на прогулках старайся преподавать – это приятно остается в памяти, – где-нибудь в роще, на чистом воздухе...

Батюшка не знал, что все четыре легавые собаки всегда сопутствовали нам на ученых прогулках и до того разбаловались, что ничего не искали, кроме ежей и зайцев. Ужасный лай их сильно занимал меня; да и учитель, бывало, велит набрать Сереже ежей и несет к реке, любопытствуя видеть, как ловко они плавают, загнув кверху свое острое, свиное рыльце. Но каково бы ни было мнение посторонних, я всегда буду утверждать, что родители сильно заботились о моем воспитании и не допускали ни малейшего уклонения от принятой однажды наилучшей системы. Вследствие этой системы до шести лет мне не давали мяса, а до совершенной

перемены зубов – ничего, в чем заключалась хоть малейшая частица сахара. Батюшка, заметив несколько раз, как я, за обедом, прислонялся к спинке стула, даже приказал Ивану столяру отпилить эту спинку и нанести лак на отпиленных местах. Если я не съедал тарелки ненавистного мне супа из перловых круп и не съедал приводящих меня и поныне в содрогание пирожков с морковью, меня после обеда запирали на ключ в отдаленную комнату. Батюшка любил эти пирожки, и они подавались два раза в неделю. Несмотря на бившую меня лихорадку, я принужден был есть их – разумеется, для моей же пользы.

На учителей ничего не жалели. У меня перебивало их много. Кроме иностранцев, все они были из семинарии и получали в год даже до 300 р. ассигн. Костюм у всех, при появлении, состоял из иверолисового сюртука светло-табачного цвета. Исключения не помню. Время пребывания их в доме можно было определить количеством платья каждого. Через полгода обыкновенно появлялся сюртук тонкого сукна оливковый, через год такой же – черный, через полтора – оливкового цвета шинель и, наконец, через два – черная фракная пара. Высота галстука соответствовала личным достоинствам и степени учености каждого. Большая часть наставников редко доходила далее оливкового сюртука; один Василий Васильевич дожил до фрака: поэтому позволю себе сказать о нем несколько слов. Это был человек с необыкновенными способностями вырезать из клена ложки точь-в-точь такой же формы, как серебряные. Из обломков черепахи во время класса он делал, для горничных, перочинным ножом такие подвески, что вся девичья не могла надивиться. По поводу Аннушки, я даже открыл, что Василий Васильевич был поэт. Описывать Аннушку не стану. Когда, впоследствии, я читал у Пушкина:

Коса змеей на гребне роговом;
Из-за ушей змиями кудри русы;
Косыночка крест-накрест, иль узлом,
На тонкой шейке восковые бусы[8],

мне всегда представлялась Аннушка. Все было точно так, даже бусы не забыты. Прибавьте к этому ее мастерство переделывать старые шелковые платья, которые матушка ей дарила, да по праздникам шелковый пояс, с распущенным концом, и ленты из-под блестящей тульской пряжки, подаренной чуть ли не Васильем Васильевичем. Однажды, ранее обыкновенного пришедши в классную, я нашел на письменном столике учителя, ушедшего на прогулку, лист бумаги, написанный красивыми, но весьма неровными строчками. Читаю:

Цветок милый и душистый,
Цвети для юности моей...

В это время слышались шаги, и вот причина, по которой я не знаю продолжения этих прекрасных стихов. Гордый человек был Василий Васильевич! Хотя он прибыл в дом в иверолисовом сюртуке, но галстук постоянно подвизывал под самые уши, над которыми весьма авантюжно красовались два густо напوماженные завитка. Несмотря, однако ж, на гордость свою, спины Василий Васильевич не любил ни к кому оборачивать: там, на сюртуке, был изъянец, в виде продолговатого желтого пятна, появившегося, вероятно, от нечаянно раздавленной ягоды. Это пятно Сережа прозвал островом Мадагаскаром. Не знаю, проведал ли об этом Василий Васильевич, но когда, бывало, матушка придет с чулком в класс и спросит: «Отчего вы, Василий Васильевич, никогда не повторите с ребенком Африки?» Василий Васильевич, заметно краснея, отвечал постоянно: «Помилуйте, сударыня! да это чистая степь: стоит ли на нее время тратить; да и народ-то такой невежественный». При всем уважении к Василью Васильевичу, я не мог утерпеть, чтоб не сказать «Матап! Да я знаю остров Мадагаскар». В подобные минуты лицо Сережи принимало самое кроткое выражение. Два раза, во время пребывания в нашем

доме, Василий Васильевич, задав нам уроки, уезжал по своим делам недели на две. Тогда матушка вступала в дело преподавания. Я любил слушать, когда она с увлечением рассказывала о воспитании и подвигах Кира[9], о уважении Александра[10] к своему учителю, о мученической смерти добродетельного Сократа[11]. Из уроков Василья Васильевича помнил я только, что какие-то народы с глумом и яростью устремлялись куда-то. В часы, назначенные для алгебры, матушка задавала нам задачи из арифметики, и тут я не раз ставил ошибкой единицы под десятками, отчего сумма, несмотря на точное соблюдение всех правил операции, выходила какая-то странная. Так однажды из $22 + 22$ у меня совершенно верно вышло 242. Такие решения задач кончались неутешными слезами матушки, что я объяснял наклонностью ее к истерике. Несмотря на подобные сцены, матушка прослушивала уроки из всех предметов, придерживаясь отчасти рациональной системы батюшки, по которой ребенок прежде всего должен понимать то, что учит. Заметив однажды, по певучести, с какою я, говоря урок из латинской грамматики, произносил: mare-ris – море, cete-torum – кит, матушка приказала мне заучить: mare-море, ris – море, cete – кит, torum – кит. Василий Васильевич остался недоволен подобным знанием, хотя и не объяснил мне, что ris и torum окончания родительных падежей. Из всего сказанного ясно, почему батюшка называл воспитание кузена Аполлона дешевеньким и дюжинным, прибавляя: «Нет, нет, это все цветочки, да листочки, и для моих детей этого мало».

Так проходили дни за днями. Однажды, месяца два спустя, после первого решительного приказанья со стороны батюшки вести журнал, из дальней деревни пришел обоз с пшеницей, и с этой оказией матушка получила уведомление о скором прибытии батюшки. Не умею описать моего страха при этом известии. Пускай бы Василий Васильевич сказал разом, что я был неисправен, а то батюшка увидит на каждой странице, на каждой строчке: «худо», «нехорошо», «нерадиво», «лениво»... Нет, это выше сил моих! Весь день до вечера я был как в лихорадке. Наконец я решился. Когда Василий Васильевич вышел в столовую, я судорожно выхватил грозный журнал из-под подушки и, спрятав под полою, выбежал в палисадник, убедившись наперед, что никто меня не увидит. Выдернув одну из забытых подпорок, к которой летом привязываются георгины, я засунул ею журнал в одно из глухих окон в фундаменте, так, однако ж, чтоб мог, в крайности, достать его. На другой день к вечеру батюшка приехал. Выслушав приказчика, старосту, ключника и повара, он за чаем обратился к Василью Васильевичу с вопросом: «А каково он учился?» – «Неудовлетворительно». – «Покажите журнал!» Василий Васильевич пошел искать тетрадку. Журнал куда-то заложился. Положение Василья Васильевича было не из лучших, хотя батюшка только и сказал ему: «Да как же это ты не вел журнала-то? Ведь я говорил тебе. Да нет, нет, да-таки нет, нет, Василий Васильич, так нельзя!» Жаль мне было и Василья Васильевича, а тем не менее журнал со всей нисходящей линией покоится по сей день в известном окне фундамента.

II. Приезд

Двадцать второго июня, накануне именин матушки, часа в четыре после обеда, дом наш представлял совершенный образец тишины и порядка. Полы и окна вымыты мылом, чехлы на мебели надеты ослепительной белизны, кресла вокруг овального стола в гостиной расставлены самым правильным полукругом, с люстры снят кисейный чехол, и все рожки уставлены восковыми свечами. Матушка сидела у растворенного окна за какой-то работой. Батюшка расхаживал по зале, от времени до времени подходил к тому же окну и, доглядев на большую дорогу, повторял: «Странно, Однако ж, что сестра не едет». – «Да, пора бы им приехать», – замечала матушка. «От постоянного двора, где они ночевали, всего верст сорок; да верно на пароме задержали». Матушка еще накануне объявила мне, что тетушка Вера Петровна и дядюшка Павел Ильич привезут кузена Аполлона[12], и тогда я увижу, какой это воспитанный мальчик. Зависть к Аполлону уже заочно так сильно развилась во мне, что я боялся его увидеть. Но делать было нечего. Еще несколько часов – он приедет и совершенно затмит меня. Все напомнимое о завтрашнем дне приводило меня в содрогание. Дворовые девочки, возвращавшиеся из кухни, где Павел-кондитер заставлял их завертывать конфеты, батареи оправленных свечей с затейливыми бумажными кружевами в лакейской, груда складных столов, запрятанных под лестницей, ведущей в мезонин, даже синий полуфрачок с ясными пуговицами и батистовый воротничок, на котором рукою Аннушки с таким искусством вышиты бабочки, – напоминали неизбежное торжество Аполлона и были мне противны.

Из-за рощи по большой дороге показалась тяжелая желтая карета шестериком и за ней крытая бричка тройкой. «Это они!» – воскликнула матушка. «Да, это сестра», – сказал батюшка, и вслед за тем все, даже Василий Васильевич, отправились на крыльцо. Карета остановилась; два худошавые лакея в поношенных серых ливреях и совершенно измятых треугольниках быстро соскочили с запяток и стали по обеим сторонам дверцы. «Ну, Евсей! Андриян! Ах, какие вы!» – послышался пискливый, резкий женский голос из кареты. Дверца отворилась, и подножка, стукнув восемь раз, образовала пеструю лестницу такой вышины, какой с тех пор не удавалось мне видеть ни при одном экипаже. «Ах! Павел Ильич, ком ву зет!»[13] – послышался тот же голос. «Сейчас, матушка. Дай хоть ноги расправить, а то вот тут Аполлоновы книги в коробке». – «О, ком ву зет!» В это время седой старичок в коричневом сюртуке, круглой шляпе, белом галстуке, с огромной махровой манишкой, наподобие цветной капусты, и с синим клетчатым платком в правой руке, поддерживаемый двумя лакеями, начал, спотыкаясь, сходить по ступенькам. «Вот и дядюшка Павел Ильич!» – сказал батюшка, обращаясь ко мне. Я подошел к руке. «Прошу полюбить», – сказал Павел Ильич, целуя меня в голову. «Да какой он у вас молодец!» Вслед за дядюшкой свежая и проворная старушка лет шестидесяти, без помощи лакеев, смело сбегала по ступенькам и бросилась попеременно осыпать частым рядом поцелуев батюшку, матушку и меня, приговаривая: «О! о! мон шер – о! о! ма шер – о! о! мон шер...»[14]

Тетушку я знал еще прежде. Ее живое, бойкое, хотя покрытое морщинами лицо, осененное широкими блондовыми оборками чепца, большие, быстрые, голубые глаза и вся фигура составляли резкую противоположность с наружностью ее супруга, выражавшей невозмутимый душевный мир и желание покоя. Костюм тетушки никогда не изменялся: серизовое шелковое платье, красная кашмировая шаль и зеленый бархатный ридикюль. «Апишь! вене иси! – закричала тетушка, – фет вотр реверанс а вотр трешер тант; амбрасе вотр кузен». «О ком вузет эмабль!»[15] – прибавила она, обращаясь ко мне. Все общество отправилось в гостиную. Казалось, как взглянуть на Аполлона – страшно! а между тем я осматривал его с головы до ног. Старше меня двумя годами, он был значительно ниже меня ростом, хотя на нем был фрак бутылочного цвета, галстук с огромным бантом и на носу огромные стальные очки. В гости-

ную он вошел, заложа обе руки за спину под фалды фрака, которыми болтал с самодовольным видом. «Апишь! вене иси, фет вотр реверанс!» Но это увещание оказалось совершенно излишним, потому что Аполлон, расправляя свои хитро взбитые волосы, выделявал руками, ногами и плечами какие-то ловкие штуки, что меня бросало в краску от зависти. Между старшими начались разговоры. Я сел подле Аполлона. «Где вы намерены служить?» – спросил он. Я отвечал «не знаю» и сделал ему также вопрос. «Разумеется, в гусарах», – отвечал Аполлон и при этом так торкнул ножкой, что я не мог не видеть в нем будущего гусара. «Апишь! вене иси!» – раздался снова голос тетушки. «Вера Петровна! дай, матушка, хоть с дороги-то отдохнуть ребенку. Пусть познакомится с двоюродным братцем; пойдут погуляют». – «О! о! Это правда, это правда!» Но едва мы дошли до дверей гостиной, как снова раздалось: «Апишь! вене иси!» «Василий Васильич, а какво успевае ваш ученик?» – «Весьма порядочно», – отвечал, поклонившись, Василий Васильевич. «О-о! я знаю, он философ! Вене иси!» Это относилось уже ко мне. Я подошел, робко смотря на тетушку. «Чем ты хочешь быть?» – «Не знаю». – «У, у! мон шер, как это можно? хочешь быть профессором?» – «Нет!» – «У! у! каков? А доктором?» – «Нет». – «Почему?» Я не знал, что отвечать; но, подумав, сказал: «Мне не нравится». – «Почему?» Я молчал. «Почему?» Ни слова. «Да отвечай же, когда тебя спрашивают!» – заметил батюшка. Я не люблю докторов», – произнес я шепотом и почти заплакал. «Ха, ха, ха! О! о! ком иль э костик!»[16] Совершенно растерявшись, я отошел от тетушки, ища предлога ускользнуть из комнаты, где каждую минуту меня ожидали испытания подобного рода. К счастью, Аполлон вывел меня из затруднительного положения, выскользнув за дверь. Я с радостью побежал за ним. Не отстал и Василий Васильевич. «Аполлон Павлыч! не угодно ли вам взглянуть на нашу классную и на спальню братца, где для вас приготовлена кровать?» – «Нет, насчет книг не беспокойтесь; мне и свои надоели, а вот комнату посмотрим». Мы вошли в так называемую детскую. Высокий, худощавый лакей, с багровым носом, таскал узлы, коробки с книгами и чемоданы, размещая их вокруг постели, назначенной Аполлону Павловичу. «Андрян! а какое ты мне на завтра платье приготовишь?» – «Синий фрак, желтую пикейную жилетку», – проговорил худощавый лакей скороговоркой, встряхивая обеими руками несколько засаленные борты своего длинного сюртука, как бы желая придать им этим движением более свежий вид. «Вот еще что выдумал! Приготовь черный фрак с белыми брюками и белую жилетку». – «Маменька так приказывать изволила». – «А я тебе говорю: этого не будет». – «Апишь, кеске ву фет?»[17] – раздался голос тетушки, почти вбежавшей в детскую. «Андрян! – прибавила она шепотом, – что вы будете играть завтра?» – «Что прикажете-с, – отвечал худощавый, не встряхивая на этот раз бортов сюртука. – Из «Слепых» можно-с, из «Калифа Багдадского-с». – «Апишь, кеске ву фет?» – «Я не надену синего фрака. Это бог знает что!» – «Парле франсе. О! о! ком ву зет!»[18] Несколько минут продолжался спор и кончился тем, что Аполлон таки наденет черный фрак.

Не только в первый день знакомства с Аполлоном, но во все время пребывания тетушки у нас я по возможности старался не попадаться ей на глаза. Наступил торжественный день именин. С утра Аполлон Павлович занялся туалетом. Когда принесли ему чаю, а мне молока, он уже спросил визгливым дискантом: «Андрян! а что ж Евсей не идет?» – «Сейчас, сударь; пошел в кухню, щипцы под плиту положить. Одолжите, если милость ваша будет, – прибавил Андрян, обращаясь к Василию Васильевичу, – бумажки». Василий Васильевич, спрося, годится ли писаная, вручил ему старую тетрадь чистописания, на которой огромными буквами были изображены мнения Платона об ученых. Вошел Евсей, с гребенкой, заложенной за правое ухо. Порванные на клочки философские изречения в полчаса превратили голову Аполлона в какого-то бумажного дикобраза. Отлучившийся Андрян возвратился в щипцами в виде ножниц, с разрезанной иглой на концах. Началось припекание. «Евсей, ты подпалишь!» – «Не извольте беспокоиться. Семь лет выжил на Зубовском бульваре. Как еще маменька изволили жить в Москве, так всегда на балы убирал». Над прической Аполлона Евсей точно доказал,

что не даром жил на Зубовском бульваре. Черный фрак, золотые очки, белый галстук, такие же панталоны и жилет придавали кузену вид не только зрелого, но даже бывалого человека. Недоставало одного: оказалось, что, несмотря на вершковые каблуки, он далеко ростом не вышел. Часам к одиннадцати кузен осмотрелся со всех сторон между двумя зеркалами и остался совершенно доволен. Мы отправились в гостиную.

Там все приняло вид еще более торжественный, чем накануне. Белые чехлы сняты. Светло-вишневый штоф мебели так и кидается в глаза. Блестящие атласные драконы по матовому полю были вытканы так живо, что мне страшно было садиться на кресла, у которых на каждом грозное чудовище приходилось на самой середине. Гостей всех родов и видов уже было довольно, начиная от девиц весьма ловко увитых воздушными шарфами, до Константина Исаевича, в светло-зеленом фраке с ясными пуговицами, подъехавшего на козлах тележки, в которой сидела его супруга, не к крыльцу, а прямо к конному двору. Дядюшка Павел Ильич явился тоже в полном блеске. Желтое лицо его еще более озарилось свойственной ему доброй улыбкой, хотя вся особа выражала сознание собственного достоинства. Галстук и пикейный жилет были на нем, если это возможно, еще белей вчерашнего: брыжи еще махровее и пышнее. Черный фрак на дядюшке был щегольской; в правой руке, вместо синего клетчатого, развевался белый платок. Однако ж можно было заметить, что художник, делавший фрак, не постиг искусства вгонять платье в талию: поэтому между поясницей и длинными фалдами фрака оказывался значительный просвет. Этому, правда, много способствовал большой живот Павла Ильича, несколько не соответствовавший его худому лицу и слабым ножкам, заставлявший его, пошатываясь с ноги на ногу, сильно отклонять верхнюю часть тела назад. Дядюшка, как уже замечено, был исполнен собственного достоинства, поэтому несколько длинные и слабые руки его, предоставленные собственной тяжести, качались вместе с фалдами позади корпуса, уклонявшегося на каждом шагу от прямого направления. Когда Павел Ильич входил таким образом, нижний конец платка в правой руке выписывал по полу самые затейливые извивы. После завтрака началась выводка лошадей. Доезжачий, татарин, приводил двух новокупленных польских выжловок [19]. Собаки были подмазаны, и по бесцеремонности, с какой он тыкал раздвинутой пятерней в их грязную шерсть, приговаривая: «Сама, бачка, камышница, из булоти звир гонит», заметно было, что сегодня, на радости, он забыл закон Мухаммеда. Костюм тетушки остался тот же, что вчера. Впрочем, это не беда. Все знали ее – знали, что у нее и у Павла Ильича отличное состояние, и все привыкли уважать ее. На Аполлона она смотрела с явным восторгом – и не без основания: встряхивая завитой головою, он раскланивался до того вертляво и развязно, что батюшка даже взглянул на него как-то странно, как бы желая сказать: «Ах, господи более мой!» Я очень хорошо понимал, почему Аполлон предоставил мне полную свободу принимать приезжих сверстников: неприлично же было ему вязаться с детьми в полуфрачках с отложными воротничками и которым, вдобавок, дают молоко вместо чаю. Расшаркавшись, он так же ловко стал обращаться с любезностями то к одной, то к другой девице, выбирая, как мне показалось, преимущественно тех, которые были целою головою выше его ростом. Видно было, что девицам весьма неловко, даже досадно. Не могу умолчать об одном обстоятельстве, врезавшемся мне в память. В числе гостей была приезжая из Москвы, полная, пожилая дама с дочерью, очаровательной блондинкой лет шестнадцати.

– Сестра Марья Ивановна, – сказал батюшка, взяв меня за руку, – позволь сыну моему поцеловать твою руку. Лиза, – прибавил он, обращаясь к блондинке, – вот твой троюродной брат.

Какое свежее, светлое создание была Лиза! Как воздушно окружали ее детскую головку роскошные кудри пепельного цвета! Сколько изящной чистоты было в разрезе ее карих глаз, осененных длинными, темными ресницами! Лиза посмотрела на меня так бойко и в то же время так приветливо, что, при всей моей застенчивости, я подошел и поцеловал ее руку – даже с удовольствием. Расточая то перед одной, то перед другой девицей любезности, Апол-

лон обратился наконец и к Лизе. Не знаю, что он сказал ей, не слышал также, что она отвечала, но я видел, как она взглянула на него своими бархатными глазами и как эти глаза потом, казалось, забегали под опущенными ресницами, ища уклониться от его взгляда. Аполлон закинул голову, заложил руки под фалды фрака, круто повернулся на каблуках и отошел.

Между тем время приближалось к обеду. Во всю залу накрыт был стол; в столовой накрыли тоже. Незадолго до обеда, взглянув нечаянно на дверь, я увидел буфетчика Аристарха, делающего знаки головой, чтоб я вышел из гостиной. Выхожу.

– Что тебе нужно?

– Батюшка барин, пожалуйста на единый момент в буфет.

Мы вошли в буфет.

– Доложите, батюшка, папаше, не прикажут ли они взять Петрушу Шанинского да Семена Буркинского?

– Зачем?

– Прислуги за столом совсем мало.

– Как мало?

– Да наших-то всего двенадцать человек: на два стола повернуться нечем. Оно точно, тетенькины за задним-то столом прислужить могут, да при большем-то, как им угодно, совсем мало. Жаркое хоть не подавай.

– Да неужели двенадцать человек не могут подать жаркого?

– Никак невозможно-с. С жарким на два блюда под телятину да под дичь надо четырех, под салат да под огурцы, под яблоки да под груши, под барбарис да под пикули, под вишни да под крыжовник – извольте сами считать, хоть на две руки пустить, на одну сторону четыре да на другую четыре – восемь, вот и все двенадцать, а с атаманским и идти некому. В столовую-то я хоть Якова Петровича казачка с огурцами да с салатом пушу; а ведь тут, сами извольте знать, на чистоту-с.

Вполне убежденный, я отправился к батюшке. Наконец обе половинки дверей из гостиной отворились, и гости пошли к столу. Не скажу ничего о горячих, холодных, соусах, рейнвейне, портвейне, мадере, грушовке, вишневке, сливянке, терновке и проч.: все это было, как следует; не повторю ни одной поздравительной речи, но не могу пройти молчанием сюрприза. Затейник, любезный сосед Яков Петрович, не упустил случая дать волю своему изобретательному уму. В ту минуту, когда лысый судья привстал и произнес: «позвольте поздравить вас», оглушительный залп раздался под самым окном. Яков Петрович велел шестерым стрелкам прийти из его деревни, зарядить двойными зарядами и под окном, во время обеда, дожидаться, пока он махнет платком. Когда общее внимание обратилось на красноречивого оратора, никто не заметил, как Яков Петрович подскочил к окну и махнул платком. Дамы ахнули, некоторые мужчины засмеялись, а более всех смеялся сам Яков Петрович, показывая горстью то количество пороха, которым приказал зарядить ружья. Между тем овальный стол в гостиной перед диваном устали всеми возможными плодами, созревшими в саду и оранжереях или сохранившимися с прошлого года. Подали свечи. Я ушел посмотреть, что делается в других строениях. Перед флигелем стояли телеги, наваленные перинами, подушками, одеялами, коврами и прочими постельными принадлежностями. Домашнего запаса этих вещей, по расчету, хватало в доме только для дам, а для мужчин посылали просить у соседей. В бане тоже светился огонь. Я побежал в баню. Там, без церемонии, в прибаннике настлали сена и накрыли его простынями, приложив подушки рядком к стене.

– Пожалуйста-с, – вскрикнул вбежавший в баню лакей, – насилу вас отыскал. Весь сад выбежал, был на конном дворе, во фигурах-с – нигде нет-с. Пожалуйста; мамаша изволят требовать-с.

– Зачем?

– Не могу доложить-с. Вариятно, танцыи будут-с.

В передней я уж услышал музыку, а вошед в залу, увидел одну из девиц за фортепьяно и судью, из всей силы водящего смычком по пробке с донского. Полновесная тетушка, Марья Ивановна, подошла к фортепьяно.

– Пожалуйста, не торопитесь, я вам буду такт бить. Повторите еще раз. Венгерку-то вы так играете, а вот как начнете «Возле речки», все торопитесь.

Заиграли венгерку и затем «Возле речки».

– Ты все бегаешь! – сказала матушка, обращаясь ко мне, – мальчик в двенадцать лет не может минуты пробыть с гостями! Право, я от стыда не знаю куда глаза девать.

– Ну теперь можно, – сказала Марья Ивановна так громко что ее услышали даже бывшие в гостиной.

По этому слову все общество вошло в залу и уселось вдоль стен. Дверь из внутренних комнат отворилась, и Лиза легка и нарядна, как бабочка, с серебряными гремушками в руках, влетела в залу. Веселая улыбка озаряла ее свежее лицо. Мое, вероятно, выразило удивление и удовольствие, потому что Лиза, взглянув на меня, еще веселей улыбнулась. Не буду описывать смелой, ловкой пляски Лизы. На каждый такт отзывались ее серебряные гремушки, и каждый такт давал ее кудрявой головке новый, изящный поворот. Но вот она остановилась среди залы, присела и побежала вон. Заиграли «Возле речки». Лиза вошла снова. Вместо гремушек в руках у нее газовый шарф. Из проворной бабочки она снова превратилась в ту скромницу, у которой я в гостиной поцеловал руку. Глаза ее снова не смотрели ни на какой определенный предмет, а из-под опущенных ресниц проливали на все свои кроткие лучи. Все движения были плавны и как будто робки.

Мне казалось, Лиза высказывала ими то пугливое чувство, которое шевелилось во мне. Я покраснел. Музыка умолкла. Лиза побежала обнимать матушку.

Раздались возгласы одобрения. Вертлявый старичок, в коротком сером казакине, кричал громче всех.

– Вот пляшет! вот так пляшет! – говорил он, обращаясь к Марье Ивановне. – Уж точно, что можно сказать...

– Полно, кум! – прервал его батюшка, – полно.

– Как? как? Я только говорю: уж точно...

– Полно, полно! Вот взялся не за свое дело. Поверь мне, завтра ты не будешь так кричать.

– Виноват, виноват... ха, ха, ха! Есть немножко... – сказал вполголоса старичок и исчез.

В залу вошел лакей, неся небольшой столик, который он, к немалому недоумению присутствующих, поставил посреди комнаты. Вслед за ним вошел Андриян с двумя скрипками в руках и свертком нот под мышкой.

Хотя на нем был тот же долгополый, серый сюртук, но ни в каком costume не мог бы он быть величавее, как в настоящую минуту.

– Апишь! комансе[20], – послышался голос тетушки.

Аполлон Павлович подошел к столу и взял скрипку.

– Что? настроена? – спросил он.

– Как же-с, не извольте беспокоиться: во флигеле строил, да еще в сенях подстраивал.

Начался концерт. Боже! какое торжество! С каким искусством нарезывал кузен продольными штрихами по визгливым струнам в то время, как Андриян, самодовольно выбивая такт левой ногой, только переваливал смычок справа налево волнообразным движением руки. Я просто не взвидел света. Не знаю, что играли: из «Слепых» или из «Калифа Багдадского». Взгляну украдкой на тетушку Веру Петровну – в глазах ее торжество; взгляну на матушку и, кажется, читаю в глазах ее укоризну. Кажется, все гости с сожалением смотрят на меня, а вот, никак, и Лиза тоже взглянула. Слезы, закипев в моем сердце, хлынули к глазам. Подкравшись к дверям, я выскочил во двор и, задыхаясь, побежал в сад по мрачной аллее.

III. Мизинцево

– Матушка Вера Петровна, – сказал дядюшка Павел Ильич за вечерним чаем, на третий день после именин, – приказала ты Глафирке укладываться? Завтра нам надо пораньше выехать. Загостились. Пора и в Мизинцево.

– Это правда, – отвечала тетушка, – надо Апише заниматься.

– Ты лучше скажи: собираться в Москву.

– О, ком вузет север[21], Павел Ильич!

– Нет, матушка, знаю, что ты женщина умная, воспитанная, а все-таки женщина – мать. Тебе жаль расстаться с Аполлоном, да делать нечего. Теперь век не тот стал: без университета никуда. Ведь служить ему надо.

– О, ком де резон![22]

– Ну, так куда ни сунься: в штатскую...

– Фи, мон ами! кескесе?[23]

– Ну да и в военную тоже. Хоть ты и воспитала его дома, но что ж, когда требуется? Надо, надо; да и времени тратить не к чему. Ему скоро пятнадцать; скажу – греха на душу возьму, – что шестнадцать. Ведь один сын...

– А по-моему, – заметил батюшка, – в Москву ехать и в университет готовить надо, а лет прибавлять не следует. До двенадцати вовсе не учить, а там силы укрепятся – учи... Вот и моего бы надо в Москву, да мне некогда: ты знаешь мои занятия.

– Брат! – сказал дядюшка, – знаешь что? Буду говорить по-родственному. Сына твоего пора вести, сам ты говоришь. Тебе некогда, а я еду. Буду я жить в Москве домом. Я уже писал к княгине Васильевой, чтоб она приказала дворецкому сыскать мне дом, хоть и подальше от города, да попросторнее. Она уж знает мой вкус. Кто держит экипаж, тому все равно где ни жить; а я не хочу, чтоб сын мой, таскаясь каждый день пешком на лекции, камни-то гранил. Будет сыну место, будет место и племяннику, а там сочтемся.

– О, ком се бьен![24] – воскликнула тетушка.

– Так скоро? Как это можно! – с испугом сказала матушка.

– Да так-то можно, – перебил батюшка, – что я, брат, принимаю твое предложение с благодарностью. Ты знаешь меня: что сказано, то свято. А там себе хоть утушку пой. Нет, нет, нет! без торгу, без торгу!

Я робко взглянул на матушку; она смотрела на меня. Сколько нежности, сколько горячей любви было в этом взоре! Моя лень, неспособность – все забыто: у нее хотят отнять сына!

– Все это хорошо, брат Павел Ильич, да одно меня затрудняет. Ты знаешь, я взял в дом сироту, Сережу: куда я его дену? Я хотел и его приготовить в университет.

– Что ж? – сказал дядюшка, – начал доброе дело, так и кончай. Прямо тебе говорю: я люблю умных детей. Давай и Сережу свезу, а там сочтемся.

– Ну, так решено! Ты когда едешь в Москву?

– Через месяц.

– Так недельки через три мы приедем к тебе с женой да и привезем обоих молодцов.

На другой день желтая карета и троечная бричка уехали. Начали хлопотать о нашем отправлении в Москву. Матушка до того изменилась в отношении ко мне, что просила даже Василья Васильевича, остававшегося до последней минуты в доме, не слишком обременять ребенка. Легавые поступили в мое полное распоряжение, и я их прекрасно выездил тройкой. Обращение батюшки было то же. Мне кажется, этот человек во всю жизнь ни разу не изменил своей роли. Замечая иногда следы слез на глазах матушки, он всегда говорил: «Что это? сынка жаль? Нет, нет, это не моя метода любить. Нет, нет, нет! По-моему, поезжай себе хоть в Америку, да будь счастлив». Дни летели – по крайней мере для меня. Вот и голубую карету людьми

подкатали под крыльцо. В девичьей Аннушка укладывала в вояжи мое и Серезино белье. Вот уже и каретные лошади пошли на постоялый двор на подставу. Рано поутру на другой день мы выехали. «Пиши, мой друг, нам почаще. Все пиши, что с тобою делается. Утешай нас!» – говорила матушка дорогой. «Охота тебе, право, – перебил ее батюшка, – говорить напрасно. Он и в самом деле подумает, что мы его просим. По-моему, сказано писать, так и будет писать – вот и конец. Нет, нет, без торгу, без торгу! нет, нет, это не моя метода!» Жаль мне было расставаться с родителями, но в это чувство подмешивалась бессознательная радость птицы, которую выпускают на волю.

Солнце садилось, когда мы въезжали в Мизинцево. Последние лучи ярко играли на окнах крестьянских изб, весело выглядывавших из-за кудрявых ракут. На многих кровлях виднелись белые трубы. На все село разносилась по заре звонкая песня жниц, возвращавшихся с поля. У самого въезда на барский двор, на выгоне, стояла церковь, окруженная березами и новым зеленым забором. Видно было, что кровля храма подновлена недавно. Золотой крест, озаренный последними лучами заходящего солнца, как яркая звезда, горел на стемневшем небе. По правую сторону засверкал широкий пруд. Вот наконец господский двор и дом. Собаки залаяли, дворовые люди и девки зашныряли по разным направлениям – мы приехали. Та же радушная встреча со стороны флегматического дядюшки, тот же град поцелуев живой и вертлявой тетушки.

– Вене дан ма шамбр, мез ами[25].

– Что это ты, матушка, все по углам любишь сидеть! Пойдемте лучше в гостиную.

– О, Павел Ильич! пойдем ко мне, а там уже в гостиную.

Тетушка бежала впереди нас по длинному и темному коридору. «Ментенан вуз але ше муа»[26], – сказала она, отворяя дверь и вводя нас в небольшую комнату, где уже горели две сальные свечи. Подали чай.

– Да какой ты, брат, – хозяин! – заметил батюшка, – на твою деревню любо посмотреть. О! о! мон фрер! ком ву зет костик![27] Да он никогда, ничего не делает.

– Толкуй, толкуй, сестра! Отчего же мужики-то так исправны? Ведь ты тоже полевым хозяйством не занимаешься.

– Да и я-то, брат, – процедил сквозь зубы Павел Ильич, – да и я-то ничем не занимаюсь. Земли у них довольно, лес под боком, строиться есть чем, люди мастеровые есть: отчего же им быть неисправным? Вот еще вчера приходил Фома да и говорит: «Нельзя будет в Москву ехать». – «Почему?» – «Да передняя ось в городских дрожках лопнула». Ты знаешь, брат, я ведь на своих в Москву поеду, да и дрожки, со мной пойдут. Вот я и говорю: «Лопнула ось! Что ж делать? Не в город же посылать». – «Да нельзя ли, – говорит Фома, – к Яшке Мосинову на деревню свезть: он кузнец, говорят, хороший». Что ж ты думаешь, брат? Сварил ось, а я ему полтинничек в руку. Так как же им не жить-то хорошо?

Между тем я рассматривал тетушкину комнату. Особенного порядка в ней не было. На комодке стоял порожний графин, на столике валялась книжка, на одном из диванов разбросаны принадлежности женского туалета, и на них сидела премилая белая кошка.

– Иль се дансе, – сказала тетушка, обращаясь ко мне. – Регарде[28]. У! у! кошка-капошка, монтре ла ланг[29]. (К великому удивлению моему, кошка открыла рот и высунула свой тонкий розовый язычок.) Вене иси. (Кошка соскочила на пол.) Дансе, дансе![30] И кошка, поднявшись на задние лапы, ловко начала вертеться, как бы вальсируя. Несмотря на забавное искусство кошки и живой разговор между большими, мне все-таки было жутко в комнате тетушки. При живости ее характера и страсти экзаменовать, того и гляди, оборотится ко мне с вопросом. Дотянув кое-как до десяти часов, я, под предлогом усталости, подошел к рукам и отправился спать. Занялась ли тетушка ролью хозяйки дома, или на нее подействовал предстоящий отъезд сына, но на другой день она предоставила нам почти полную свободу, сказав не более пяти раз: «Апишь, вене иси» и «кеске ву фет?» Проснувшись, по привычке, довольно рано, мы с Серезей

успели обегать весь дом и сад. В саду не нашлось ничего особенного. Старые фруктовые деревья – и только; но зато наружная и внутренняя физиономия дома представляла такую противоположность со всем, до той поры меня окружавшим, что врезалась в моей памяти до малейшей подробности. Снаружи двухэтажный деревянный дом, обшитый и покрытый тесом, имел вид огромного желтого тюка. Никакого архитектурного украшения, ни одной пристройки во двор или в сад. С первого взгляда даже легко было не заметить единственной двери у левого угла, черневшей под небольшим навесом, подобно старушке с зонтиком на глазах. Более всего удивило меня, как не падал этот огромный тюк на правую сторону, в которую значительный наклон его с первого раза бросался в глаза. Но как описать впечатление, произведенное на меня внутренним расположением и обстановкою комнат? Собственно жилые покои, выходящие дверьми на знакомый нам узкий и темный коридор, занимали с небольшим одну треть дома; вся же остальная его часть занята была парадными комнатами. «Вот гроб-то!» – воскликнул Сережа, когда мы вошли в залу. То же можно бы сказать и о всех парадных комнатах, почти совершенно пустых, потому что расставленные вдоль стен старинные стулья да в простенках полинявшие столы красного дерева с бронзовыми полосками вдоль ножек совершенно исчезли в огромных покоях. Вследствие заметного склонения дома на правую сторону окна и простенки дверей перекошились, а самые двери, цепляясь за пол, не могли свободно отворяться. Нижние венцы капитальных стен, вероятно, подгнили, отчего ближайшие к ним половицы представляли крутой спуск, по которому подходящего тянуло к окну, как шар на трактирном бильярде в лузу. Оконные рамы были совершенным подобием гильотин, и на каждом окне стояла деревянная подставка в виде ружья. В диванной, в гостиных – словом, во всех комнатах поражала та же пустота. Как-то не верилось, чтоб тут жили люди, а между тем попадались и предметы роскоши. Более всего понравились мне в гостиной, на столике перед зеркалом, составленным из двух кусков, обделанных в темную раму с бронзовыми украшениями, два бронзовые шандала. На четвероугольных подножиях стояли какие-то сухопарые гении. Каждый из них держал в руках змею, весьма целомудренно обвивающую концом хвоста тело своего властителя. У змеи оказывались три головы в венцах: эти-то венцы и были подсвечниками.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.